

Супружеская пара сидела за угловым столиком в ресторане гостиницы.

Мужчина был моложав, и все-таки явно старше спутницы. Полу-мрак скрадывал их лица, но скрыть волнения не мог. Женщина молчала, мужчина что-то коротко говорил ей по-немецки. За всем этим безмолвно наблюдал посторонний, но не случайный персонаж Григорий. В зале висело напряжение, и все ощущали его.

«Бог с ним, с этим волнением, меня это не особо касается. Я всего лишь зритель, даже не свидетель разговора», – с этим чувством Григорий подошел к столику и перекинулся с немцами парой слов.

Отвечал мужчина. Скорее угадав, чем разобрав из немецких фраз, что сегодня у них случилось нечто необыкновенное, Григорий сходил за бутылкой коньяка, взял в баре три рюмки, плеснул в них солнечного света. Выпили залпом, без закуски. Немец заговорил быстрее, сыпал словами. Удавалось выхватывать из рассказа только отдельные слова, чаще всего: голод и смерть, смерть и голод, голод, голод, голод.

Десяти-одиннадцатилетние мальчишки с матерью в конце войны не успели эвакуироваться вглубь Германии и два года выживали в маленьком домике за городком Лабиау, нынешним Полесском. Голод, голод, голод. Жизнь – поиск еды, любой еды. Иногда воровство, редко – неожиданная помощь случайных встреченных на своём пути русских. Зимой голод становился непреодолимым, весна и лето приносили только временное облегчение.

Мать отдавала еду детям, пытаясь их спасти, и умерла от голода в начале лета 1947 года, не дожив пары месяцев до отправки в Германию. Сын тайно схоронил ее во дворе дома, под приметным деревом. Сегодня они с женой целый день безуспешно искали тот дом на окраине поселка и к вечеру все-таки опознали это место. Старого приметного дерева уже не осталось, и они, попросив разрешение у нынешних

хозяев, посадили вечнозеленый кустарник прямо над могилой матери. Опасались раскрыть тайну этого места и не открыли, что здесь похоронена мать. Вся история предстала в своей трагической обыденности в безыскусном рассказе немца. Спутница за все время разговора не произнесла ни слова.

Мать его умерла, а он, совсем мальчишка, выжил, вернулся в Германию, стал известным актером и режиссером. И сейчас, уже постарев, в театре Мюнхена играл всего одну роль – роль старика в знаменитой русской пьесе. Совершенно седой и прозрачный от худобы, он так и остался в том своем голоде, голоде детства.

Обычная история, житейская, а житейские истории, они потому и житейские, что происходят сами по себе. Происходят без автора и режиссуры, если таковыми не считать собственно провидение. История эта могла случиться в нашем приморском крае в любой день через пятьдесят лет после войны, но началась в июле 2012 года.

Через два года эта пара вновь приехала в Калининград. Они представили книгу о судьбе этого мальчишки. Вечно молчаливая спутница оказалась писательницей. Она всегда молчала, только глаза, не поглощающие, а излучающие свет, выдавали ее необычную открытость миру. Может, писатель и должен молчать, чтобы не растратить мысли и эмоции, так и не успев донести их до бумаги. Через год книгу перевели на русский язык, и Григорий прочёл её. В книге снова – голод, голод, благодарность матери и неизбывная вина перед ней, поиск следов отца, тайна его гибели, сомнения в нем, его принадлежность к национал-социалистической партии и снова сомнения, и снова голод, голод без конца. Григорий размышлял о том, что заставило молчаливую фрау потратить два года на описание этого частного случая, который в книге приобрёл общечеловеческое звучание. Ни на деньги, ни на славу она рассчитывать не могла. Что двигало ею, какая воля или долг заставляли её делать большую работу? Она шагнула из своей молчаливой тени немого свидетеля на звучащую, освещённую сцену, выносив в себе книгу о тех двух голодных первых послевоенных годах в Восточной Пруссии.

Русские виноваты в этом голоде? Прямо об этом не написано. Но это вытекало из текста, точнее было подтекстом. Мог ли немецкий мальчишка, оказавшийся в трагической ситуации, не ожесточиться? Русские виноваты! Но они сами голодали, и единственно, чем их жизнь отличалась от жизни немцев, так только тем, что русские могли уехать из этого голодного места в другое, но тоже голодное. Когда люди страдают, всегда кто-то виноват, боль и обида сама находит виновных. Какое впечатление производили страдания немцев на русских? Не самое сильное, ведь все зависит от того, с чем сравнивать. А русским, белорусам, евреям и украинцам, жившим теперь рядом с немцами, было с чем сравнить. И на первом плане в личном опыте немецкой оккупации у них были смерть и истязания, а голод маячил где-то далеко, до него еще надо было дожить. Так было везде, за исключением Ленинграда и лагерей. Но в послевоенной Восточной Пруссии подавляющее большинство немцев выжило, и легче те, кто был ближе к заливу, к рекам, к озерам. Рыбу в отличие от зверей можно было ловить и этим спастись. Сушеный снеток – валюта, а хлеб еще дороже. Но этот старый немец, в юности претерпевший и потерявший все, дружелюбен к русским, он как-то сумел изжить ожесточение войны, голода и изгнания.

Вскоре Григория по делам занесло за Полесск и дальше за Дейму, в старую немецкую школу-музей Вальдвинкель, где уже явственно ощущимо дыхание Куршского залива. Там, в маленьком частном музее собрали рассказы стариков из окрестных поселков о жизни переселенцев в самые первые годы после приезда. И в них главное место занимал тот же голод, голод и русских, и немцев. В одном из рассказов, больше похожем на исповедь, теперь уже пожилая женщина вспоминала о своем ровеснике, тринадцатилетнем Матвее из Разина* – лесной деревушки, стоящей на канале неподалеку от залива. Матвей этот наловчился не только искусно ловить рыбу, это умели многие, но и каким-то тайным хитрым способом быстро сушить ее для длительного хранения. И всю зиму, даже весну маленькими порциями он раздавал драгоценную еду окрестной малышне без разбора – и русским, и немцам.

Григорий надумал доехать до канала и осмотреть эту деревушку. Дорога к ней шла на север, сначала асфальтовая, затем грунтовая и наконец, когда деревья обступили машину со всех сторон и хлестали ветками по кузову, лесная. Несколько раз, казалось, что надо поворачивать назад, дальше проехать невозможно, но деревья расступались, и вновь открывалась дорога. Вскоре впереди показались дома. Часть из них была полуразрушена и уже оккупирована буйной природой, ее передовые части – кустарники, осины и березы заволокли двory, взобрались на стены и остатки крыш. Метров через двести машина застряла в глубокой колее, разбитой тракторными колесами. Попытки вырулить из колеи на обочину не удались, надо было подложить под колеса доски или какой-нибудь другой подручный материал. Пришлось пойти к ближайшему дому за инструментами.

Живой забор вокруг участка превратился в высокий лес, но дом стоял крепко, и на двухскатной острроверхой крыше его лежала родная красная черепица, да и деревянные окна были еще немецкими. Сад у дома постарел, немецкие яблони доживали последние годы, только стайка молодых вишен-костянок весело перешептывалась мелкими листьями. Во дворе никого не было, оставалось открыть дверь самому и зайти в дом. Из маленькой прихожей коридор вел к кухне, где на табуретке сидел старик в фуфайке, на его ногах, обернутых фланелевыми портянками, чернели резиновые калоши.

– Отец, машина моя застряла неподалеку, дай топор кустов нарубить. – Старик, казалось, ничего не слышал, Григорий подошел ближе, тронул его за плечо, старик рассмеялся:

– Я все слышу, не беспокойся. Иди в сарай, топор у стены лежит. Нарубишь кустов, возвращайся, только елочки и березы не руби, там полно сорной поросли.

– Спасибо, отец. Я недолго.

Топор, воткнутый в край аккуратного чурбачка, нашелся сразу. Все в сарае было обычным для села, но под самой крышей были натянуты десятки лесок, на которых рядами, как нотки на нотном стане, висели сотни рыбин, будто специально отобранных одна к одной, весом граммов под триста. Мало ли кто из местных вялит рыбу, но запах этой рыбы да и цвет ее были необычными, будто кто-то смазал ее особенным маслом. Да еще на веревках под потолком висели холщовые мешки, заполненные уже высушенной рыбой.

* Здесь и далее упоминаются поселки Полесского (Лабиау) района Калининградской области: Ювендт (Мёвенорт) – пос. Разино, Келладен – пос. Ильичево.

Поблизости от дороги в изобилии росли самосеянные клены, осинки. Они и пошли под колеса автомобиля. Дернувшись несколько раз вперед-назад, машина с трудом выбралась из глубокой колеи на твердую поверхность дороги. Когда Григорий вернулся с топором к сараю, старик стоял на чурбачке у стены, крихтя, снимал рыбу с лесок и складывал ее в мешок.

– Ну что, вылез из ямы? Куда нелегкая тебя несет, вроде ты не из наших, да и не рыбак?

– Просто путешествую, вот хочу до канала доехать, на залив посмотреть.

– Каналов здесь полно, со всей округи воду собирают, а то затопило бы давно поля и лес. Я тут каждую тропинку, каждую канавку знаю, где какую траву собирать, вот валерьяну ближе к посёлку Красное, а тмин – тот у дамбы растёт. Помню времена, когда все здесь работало, и симменсовские насосы еще пятьдесят лет после войны перекачивали воду из канальчиков в каналы и в конце концов в Куршский залив.

– А когда вы сюда приехали?

– Мальцом приехал из Мордовии. В последний день лета на следующий год, как война с германцем кончилась, наш эшелон пришел на станцию Тапиау, Гвардейск нынешний. Здесь всю жизнь и прожил, а что мне еще нужно. Люблю я воду. Родился на речке Мокша, с ранних лет рыбалил и здесь к месту пришелся.

– Отец, а что в первые годы с вами тут и немцы жили, небось и не помните уже?

– Чего ж не помнить. Все помню, и русских, и немцев, как играли вместе и дрались.

И как увозили их на грузовиках, помню. После возле калитки в лопухах нашел два тюка с посудой, кто из них мне оставил, не знаю. Так всю жизнь с этой немецкой посуды и ели, ни разу не покупали.

– А правда так голодали, что всех крыс поели?

– Голодно было, но крысами не спасешься. Хитрые они, бестии, чувствуют свою погибель и уходят подальше от крысоловов. Вот рыба, та другое дело, она здесь беззаботна и всегда под рукой. Она спасительница. Держи мешок, повесишь дома на крюк под потолок и ешь по рыбине хоть целый год, она только вкусней будет.

– Так кухня вся провоняет рыбой.

– Не бойсь, не провоняет кухня твоя. Рыбка-то моя высушена особым образом. И сохнет быстро, и хранится долго, и не пахнет почти. Секрет был у старых мокшан, дед мне еще в мальчишестве рассказывал о Богине-матери Анге-патьяй да секрет тот и раскрыл. Дом её небесный, скрытый за тучами, всегда полон семян растений, зародышей животных, душ не родившихся младенцев. Из своего дома богиня наша на Землю посылает Эряф-Жизнь, вместе с росой, дождем, молоком, снегом. Потому мордва и выжить может там, где другим не прожить. Из-за рыбы я в этом поселке и оказался. Сперва нас в другом месте поселили, в местечке Келладен. Немцы и русские жили здесь тогда по разным поселкам. В первый год немцев было раза в два больше. Мы приехали в осень, а ни огородов своих, ни животины на забой нет. Немецкие запасы по подвалам да полевым буртам подъели быстро. Осень кончилась, а голод только начался. Лошадей стали есть, паслись здесь без присмотра по лугам табуны. Но за это сажали. А я лошадей и без этого есть не мог, для меня это что друга схарчить. За рыбой я стал ходить на канал, но идти надо было далеко. Так я и перебрался сюда, поближе

к рыбе. Здесь жили сплошь немцы. Но ничего, сначала грызлись, а потом сжились друг с другом. Подкармливал я их да и научил кое-чему. Два года с залива и канала не вылезал.

– Зачем же отец ты взвалил на себя эти заботы? Любви-то между вами и немцами особой не водилось.

– Не знаю, как тебе и объяснить. Просто не могу, а мудро не умею. Разные люди здесь спасались. Кто имел неукротимую волю к жизни, те и сами выживали, а вот кто терял ее – тем беда. Ведь голодала здесь еще и малышня. Воля к жизни у детей природная, а умения прокормиться нет. Им-то я и помогал. Голод и холод подавляют волю к жизни. А зачем мне это нужно было, я ни тогда не знал, ни сейчас не знаю. Тоже, видать, воля какая-то мною двигала. Не мог я смотреть, как они тощат с каждым днем, а потом угасают за полночь, как тонкая лучина в моих руках.

– Как случилось, что ты остался здесь в одиночестве?

– Так уехали все мои. И сыновья, и дочери, и невестки, и внуки – все разъехались, кто в соседний поселок Саранское, кто в городе живет. А меня забыли, никто не позвал с собой, вот так. Да я бы и не поехал. Ничего, я здесь посижу. Жизнь-то прошла, словно и не жил. Но это ладно, вот старуха моя и соседи все перемерли, так это жаль.

– А мешки с рыбой зачем на подвесе под потолком держишь?

– Известное дело, крысы и мыши за месяц сгрызут всю рыбу. А её сохранить надо для людей до самой весны. Почти семьдесят лет прошло, а я всё ещё продолжаю своё дело – заготавливаю рыбу впрок. Главным это стало для меня, а в чём смысл всех этих забот, голода-то нынче нет? Но всё равно ловлю рыбу, а потом раздаю, только теперь старикам, брошенные, они нынче беспомощней детей.

Старик распрощался и направился в дом.

– Как звать-то тебя, отец? Может, через месяц заеду к тебе еще разок.

– Дедом Матвеем кличут, знаешь, что значит моё имя? Вижу, что не знаешь, дар Божий означает. А в чём дар тот, в чём мой дар, предназначение моё? Так и не знаю, не открыл в себе. Ну, заезжай, встречу, коли жив буду. До заморозков ноябрьских собираюсь дожить. А там и помру, засну на морозе. Тихая смерть.

– Ты тут один, помрешь, тебя и похоронить некому, будешь вонять.

– Нет, паря, не буду. И здесь мне мой секрет поможет, высохну, как мумия. Жизнь моя здесь закончится так, как и начиналась. В холоде и голоде. Круг должен замкнуться. Вот никому не говорил, а тебе незнакомцу скажу, мне иногда кажется, что те самые первые два голодных года на этой земле и есть самые главные в моей жизни.

Григорий достал прихваченную из машины поллитровку и с благодарностью отдал деду. Тот явно обрадовался:

– Придут морозы, буду ей согреться, по семьдесят грамм утром и вечером, глядишь, недельку на ней протяну. Топить-то печку сил уже не будет. Вот через недельку вишни поспеют, радость у меня будет, три года, как посадил их. Может, последняя радость. Варенье бы из вишни наварить в зиму с косточками, да уж не смогу.

Он повернулся, медленно зашел в дом, дверь закрывалась за ним сама, долго с пронзительным скрипом, будто лесная птица кричала во весь голос свою прощальную песню. Григорий завел машину, дальше дорога была твердой, через несколько минут открылся вид на канал.

Про деда вспомнил Григорий только в следующем году на майские праздники. После обеда направился к нему в поселок. По знакомой до-

роге ехалось легко, и яму перед поселком объехать не забыл. На участке перед домом никого не было. Незапертая дверь болталась под напором ветра, на кухне, опершись спиной о стену, сидел дед. Одет он был так же, как в прошлую встречу, только на голову была глубоко, по самые брови надвинута шапка. Лицо его было спокойным, только цвет кожи был коричневым, как у дехканина. Он спал, и сон его был вечным. На столе стояла ребристая немецкая рюмка из толстого синего стекла и та самая дареная бутылка водки, теперь уже пустая. Делать Григорий ничего не стал, в конце концов он даже не Свидетель, только Зритель. И в полицию ничего не сообщил, ничего не тронул, лишь слегка поправил шапку, пусть дед сидит в своем доме и встречает редких гостей. Прикрыл дверь в дом, которая ту же самую печальную песню на этот раз пропела коротко. В сарае все было по-прежнему, только с лесок сняли всю рыбу. На полу валялся тетрадный листок, сброшенный сквозняком с подоконника. На нем корявым почерком кто-то написал: «Дед Матвей, спасибо тебе за рыбу», – затем слово «рыбу» было зачеркнуто и выше размашисто написано «ЖИЗНЬ».

Григорий поднял листок, разглядел его ладонью, аккуратно насадил на гвоздь, торчащий из стены, так чтобы каждому входящему слово «ЖИЗНЬ» бросалось в глаза:

– Видно, дед прав, невозможно всегда оставаться только наблюдателем, только зрителем. – Какая простая мысль, может эта житейская история с ним потому и произошла, от случайной встречи с пожилым немцем, который ребёнком так тяжело боролся за жизнь, до встречи с русским дедом, который мальчишкой в этих местах помогал выживать таким же немецким пацанам, да и русским тоже, чтобы он, Григорий, осознал, вернее ощутил в себе волю к действию.

В задумчивости Григорий вышел из сарая, плотно прикрыв за собою дверь.

Старый сад медлил с цветением. Немецкие яблони, не выходя из зимнего сна, засыхали. От прошлого не остается ничего: ни деревьев, ни других жизненных декораций, разве что память, да и она уходит вместе с людьми, только вот книги – они сохраняют память. Но в углу сада, охваченные белым пламенем, трепетали молодые вишенки. Те самые вишни-костянки, которые так хотел попробовать дед прошлым летом. Случилось ли ему их поесть или неугомонные скворцы склевали раньше первый урожай вишен, теперь не узнать.

В этот же вечер в мюнхенском театре ровесник деда Матвея играл свою единственную роль. В конце пьесы, оставшись на сцене в одиночестве и пытаясь понять, отчего его герой, старик, брошенный всеми в притихшем доме посреди гибнущего вишневого сада, всё еще живет, он лег на лавку и повторил в мёртвой тишине зала слова деда Матвея:

– Mich haben sie vergessen. Tut nichts, ich bleib' hier sitzen*. Жизнь-то прошла, словно и не жил...

* Про меня забыли... Ничего... я тут посижу ...(нем.).